

*Посвящается Табби.
По-прежнему*

1922 год

11 апреля 1930 года
Отель «Магнолия»
Омаха, штат Небраска

Всем заинтересованным лицам

Меня зовут Уилфред Лиланд Джеймс, и это мое признание. В июне 1922 года я убил свою жену, Арлетт Кристину Уинтерс Джеймс, и спрятал тело, сбросив в старый колодец. Мой сын, Генри Фриман Джеймс, содействовал мне в этом преступлении, впрочем, в четырнадцать лет он не нес за это ответственности. Я уговорил его, сыграв на детских страхах, за два месяца найдя убедительные аргументы для всех его вполне естественных возражений. Об этом я сожалею даже больше, чем о самом преступлении, по причинам, которые будут изложены в этом документе.

Поводом к убийству и осуждению на вечные муки моей души послужили сто акров хорошей земли в Хемингфорд-Хоуме, штат Небраска. Их завещал моей жене ее отец, Джон Генри Уинтерс. Я хотел добавить эту землю к нашей ферме, которая в 1922 году занимала восемьдесят акров. Моя жена — ей никогда не нравилась деревенская жизнь (да и быть женой фермера совершенно не хотелось) — собралась продать эти уголья «Фаррингтон компани» за наличные. Ко-

гда я спросил, хочет ли она жить с подветренной стороны свиной бойни этой компании, она ответила, что мы можем продать хозяйство точно так же, как и акры ее отца, имея в виду ферму моего отца и моего деда. Когда я спросил ее, что мы будем делать с деньгами, но без земли, она ответила, что можем переехать в Омаху, даже в Сент-Луис, и открыть магазин.

— Никогда не буду жить в Омахе, — заявил я. — Большие города — для дураков.

Вот уж ирония судьбы, если учесть то, где я сейчас живу, но долго я здесь не останусь. Я знаю это точно так же, как знаю, что за звуки доносятся со стороны стен. И я знаю, куда попаду после того, как закончится моя земная жизнь. Задаюсь вопросом, окажется ли ад намного хуже Омахи. Возможно, это та же Омаха, только без тучных полей, которые окружают город со всех сторон. Лишь дымящаяся, воняющая серой пустошь, где полным-полно потерянных душ, как моя.

Мы яростно спорили с женой об этих ста акрах зимой и весной 1922 года. Генри оказался между двух огней, однако все больше склонялся на мою сторону. Внешне он многое унаследовал от матери, но землю любил не меньше меня. Этому послушному мальчику не передалась наглость его матери. Снова и снова он говорил ей, что не хочет жить ни в Омахе, ни в любом другом большом городе и уедет отсюда, если только она и я договоримся, а такого просто быть не могло.

Я подумывал над тем, чтобы обратиться к закону, уверенный, что любой суд этой страны подтвердит мое право — право мужа, — как и для чего использовать землю. Однако что-то меня удерживало. Не страх перед соседскими пересудами, плевать я хотел на деревенские сплетни, а что-то еще. Я начал ее ненави-

деть, начал желать ей смерти, и именно это удерживало меня.

Я верю, что в каждом живет кто-то другой. Коварный Человек, незнакомец. И я уверен, что к марту 1922 года, когда небо над округом Хемингфорд затягивали облака, а поля превратились в грязное месиво, местами тронутое снегом, Коварный Человек, живущий в фермере Уилфреде Джеймсе, уже вынес приговор моей жене и определился с ее судьбой. Это тоже правосудие, пусть оно и отличается от того, что вершат люди в черных мантиях. В Библии сказано, что неблагодарный ребенок — змеиный зуб, но вечно недовольная и неблагодарная жена острее этого зуба.

Я не чудовище. Я пытался спасти ее от Коварного Человека. Повторял ей: если мы не договоримся, поезжай к своей матери в Линкольн, в шестидесяти милях к западу. Подходящее расстояние, когда хочешь жить раздельно, еще не в разводе, но когда в союзе семейной жизни уже появились трещины.

— И оставить тебе землю моего отца, как я понимаю? — спрашивала она, вскидывая голову.

Как же я стал ненавидеть это дерзкое движение, свойственное плохо выдрессированным пони, и фыркание, его сопровождавшее.

— Этому не бывать, Уилф.

Я говорил ей, что выкуплю у нее землю, если она на этом настаивает. Не сразу, конечно, лет за восемь, может, за десять, но выплачу все, до последнего цента.

— Это хуже, чем ничего, — отвечала она (с фырканием и вскидыванием головы). — Каждая женщина это знает. «Фаррингтон компани» заплатит все и сразу, а их последнее предложение будет гораздо более выгодным, чем твое. Опять же, я никогда не буду жить в Линкольне. Это не большой город, а та же деревня, где церковью больше, чем домов.

Видите, в какой я попал переplet? Понимаете, в каком оказался положении? Могу я рассчитывать хоть на толику вашего сочувствия? Нет? Тогда слушайте дальше.

Как-то ранним апрелем — это было практически восемью годами ранее — она пришла ко мне счастливая и сияющая. Чуть ли не целый день провела в салоне красоты в Маккуке, и ее волосы теперь обрамляли щеки пышными локонами, напоминавшими туалетную бумагу — такую видишь в гостиницах и ресторанах. Она сказала, что у нее появилась идея. Заключалась идея в том, что мы продаем «Фаррингтону» сто акров и ферму. Жена не сомневалась (и, наверное, была в этом права), что компания купит оба участка, потому что им очень уж хотелось приобрести землю ее отца, расположенную рядом с железной дорогой.

— А потом, — говорила эта наглая дьяволица, — мы разделим деньги, разведемся и каждый из нас начнет новую жизнь, никак не связанную с другим. Мы оба знаем, что ты хочешь именно этого.

Как будто она сама не хотела.

— Ага, — ответил я после паузы (словно серьезно обдумал ее идею), — и с кем из нас останется мальчик?

— Со мной, естественно. — Ее глаза широко раскрылись. — Четырнадцатилетний мальчик должен оставаться с матерью.

В тот самый день я начал «обрабатывать» Генри, поделившись с ним последним планом его матери. Мы сидели на сеновале. Я соорудил самое скорбное лицо и заговорил самым скорбным голосом, рисуя картину, какой будет его жизнь, если матери удастся реализовать этот план: он лишится отца и фермы, учиться его определят в огромную школу, все его друзья (большинство — с младенчества) останутся здесь,

а в городе ему придется бороться за место под солнцем, и все будут смеяться над ним и называть мужланом и деревенщиной. С другой стороны, говорил я, если мы сможем сохранить все эти акры, то расплатимся — и я в это верил — с банком к 1925 году, а потом заживем без долгов, полной грудью вдыхая чистый воздух, вместо того чтобы с восхода до заката солнца наблюдать, как по нашей речке плывут свиные потроха.

— Так чего ты хочешь? — спросил я сына, нарисовав эту картину в мельчайших подробностях, которые только мог придумать.

— Остаться с тобой, папка, — ответил он. Слезы катились по его щекам. — Почему она оказалась такой... такой...

— Продолжай, — поощрил его я. — Правда — не ругательство, сын.

— *Такой сукой!*

— Потому что таковы в большинстве своем женщины, — объяснил я. — И этого в них не искоренить. Вопрос в том, что нам с этим делать.

Но Коварный Человек, который жил во мне, уже подумал о старом колодце за амбаром, из которого мы поили только животных. Он был мелким, глубиной футов двадцать, и с мутной водой. Требовалось лишь привлечь к этому сына. И другого выхода у меня не было, вы понимаете. Я мог убить жену, но должен был спасти своего любимого мальчика. Кому нужны сто восемьдесят акров — или тысяча, — если нет возможности разделить их с сыном, а потом ему и передать?

Я сделал вид, что серьезно обдумываю безумный план Арлетт по превращению хорошей пахотной земли в свинобойню. Я попросил ее дать мне время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Она согласилась. И следующие два месяца я обрабатывал Генри, стре-

мясь, чтобы он свыкся совсем с другой мыслью. Задача оказалась не из сложных — в мать он пошел внешностью (внешность женщины, знаете ли, — это мед, который привлекает мужчин в улей, где полно жалящих пчел), но ее богомерзкого упрямства не унаследовал. Мне и требовалось лишь как можно ярче расписать его будущую жизнь в Омахе или Сент-Луисе. Я упомянул даже о том, что эти два человеческих муравейника могут не устроить ее, и тогда она решит переехать в Чикаго. «А уж там, — предупредил я, — ты будешь ходить в одну школу с ниггерами».

К матери Генри стал относиться с нарастающим холодком, и после нескольких попыток — неловких, отвергнутых — наладить отношения она тоже охладела к нему. Я (точнее, Коварный Человек) этому только радовался. В начале июня я сказал ей, что решил, всесторонне все обдумав, не давать согласия на продажу этих ста акров. Такая сделка обречет нас на нищету и разорит, вот к чему это приведет. Это известие она встретила спокойно. Сказала, что воспользуется услугами адвоката (Закон, как мы все знаем, благосклонно относится к тому, кто платит). Это я предвидел и улыбнулся, потому что она не могла заплатить за консультацию. К тому времени я полностью контролировал небольшую наличность, которой мы располагали. Генри даже отдал мне свою копилку, когда я его об этом попросил, чтобы она не смогла украсть деньги, пусть и жалкую мелочь. Она отправилась, само собой, в офис «Фаррингтон компани» в Диленде в полной уверенности (и в этом я с ней соглашался), что они в надежде приобрести желаемое не возьмут с нее деньги за юридическую консультацию.

— Там ей помогут, и она выиграет дело, — сказал я Генри, когда мы в очередной раз сидели на сеновале, ставшем для нас местом обмена мнениями.

Полной уверенности у меня не было, но я уже принял решение, которое пока, правда, еще не называл планом.

— Но, папка, это несправедливо! — воскликнул он. Там, на сене, он казался совсем юным, выглядел лет на десять, а не на четырнадцать.

— Жизнь полна несправедливостей, — ответил я. — Иногда единственное, что с этим можно сделать, — поступить как считаешь необходимым. Даже если при этом кому-то будет причинен вред. — Я помолчал, изучая его лицо. — Даже если при этом кто-то умрет.

Он побледнел.

— Папка!

— Если она уйдет, ничего не изменится, — ответил я. — Только споры прекратятся. Мы сможем жить здесь в мире и покое. Я предлагал ей все, лишь бы она ушла по-хорошему, но она этого не сделала. И теперь мне остается только одно. *Нам* остается только одно.

— Но я ее люблю!

— Я тоже ее люблю. — И тут — хоть вы мне и не поверите — я не покривил душой. Ненависть, которую я испытывал к ней в 1922 году, сделалась столь велика именно потому, что ее составной частью была любовь. При всей озлобленности и упрямстве Арлетт была горячей женщиной. Наши супружеские отношения никогда не прекращались, хотя после того, как начались споры из-за этих ста акров, наши объятия в темноте все более напоминали случку животных. — Можно обойтись без боли, — добавил я. — А после того как все закончится... ну...

Мы вышли из амбара, и я показал сыну колодец, оказавшись рядом с которым он разрыдался горькими слезами.

— Нет, папка. Только не это. Никогда.

Но когда она вернулась из Диленда (большую часть пути проехала на «форде» Харлана Коттери, нашего ближайшего соседа, так что идти ей пришлось только две мили) и Генри принялся умолять ее оставить все как есть, чтобы мы вновь стали одной семьей, она вышла из себя, врезала ему по зубам и велела прекратить скулить, как собака.

— Твой отец заразил тебя своей робостью. Хуже того — он заразил тебя своей жадностью.

Как будто она сама не страдала этим грехом!

— Адвокат заверил меня, что земля моя, я могу делать с ней все, что пожелаю, а я собираюсь ее продать. Что же касается вас обоих, вы можете сидеть здесь и на пару вдыхать запах жарящихся свиней, готовить еду и застилать кровати. Ты, сын мой, можешь пахать весь день, а всю ночь читать его нетленные книги. Ему они пользы не принесли, но, возможно, с тобой будет иначе, кто знает?

— Мама, это несправедливо!

Она посмотрела на своего сына, как женщина иногда смотрит на незнакомца, который позволил себе прикоснуться к ее руке. И как же я возрадовался, увидев, что Генри так же холодно смотрит на нее...

— Катитесь к дьяволу, вы оба! Что до меня, так я уеду в Омаху и открою галантерейный магазин. Я так понимаю справедливость.

Разговор этот происходил во дворе, между амбаром и домом, и фраза о справедливости завершила спор. Она пересекла двор, поднимая пыль элегантными городскими туфлями, вошла в дом и хлопнула за собой дверь. Генри повернулся ко мне — в уголке рта блестела кровь, нижняя губа начала раздуваться. Глаза его горели обжигающей яростью, той яростью, ощущать которую способны только юные. Яростью,

которая не останавливается ни перед чем. Он кивнул. Я кивнул в ответ, так же сдержанно, но в душе моей ликовал Коварный Человек.

Этот удар в зубы стал ее смертным приговором.

Двумя днями позже, когда Генри работал со мной на кукурузном поле, я увидел, что он снова дал слабину. Меня это не испугало и не удивило. Между юностью и взрослостью лежат годы смятения: тех, кто их переживает, бросает из стороны в сторону, вертит, как флюгер; фермеры на Среднем Западе ставят такие штуковины на башнях элеваторов.

— Мы не можем, — сказал Генри. — Папка, она заблуждается. И Шеннон говорит, что тот, кто умирает, заблуждаясь, отправляется в ад.

«Черт бы побрал методистскую церковь и общество молодых методистов», — подумал я... но Коварный Человек только улыбался. Следующие десять минут мы обсуждали вопросы теологии посреди зеленых кукурузных побегов, тогда как облака раннего лета — самые красивые облака, похожие на небесные шхуны, — медленно проплывали над нами, таща за собой тени. Я объяснил сыну, что все будет с точностью до наоборот: Арлетт мы отправим не в ад, а в рай.

— Потому что для убитых мужчины или женщины миг смерти определен не Богом, а человеком. Его... или ее... изгоняют из этого мира до того, как он... или она... успевает искупить свои грехи, поэтому всех их Бог прощает. Когда смотришь на это под таким углом зрения, получается, что каждый убийца открывает кому-то ворота в рай.

— А как же мы, папка? Мы не отправимся в ад?

Я обвел рукой поля, на которых зеленела кукуруза: